

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

“Русские русских не любят...”

“К предательству таинственная страсть...” никогда не покидала наших “невозвращенцев” и “возвращенцев”, наших “дезертиров” и наших “перебежчиков” из пятой колонны, которые, переселившись на какой-нибудь Брайтон-бич, придумывали всякие причины, их оправдывающие, и начинали новую жизнь в новой общине. Эту жизнь подробно изобразил один из поэтов питерской “четвёрки” Анатолий Найман в книге “Роман с самоваром”, повествующей о быте и нравах советско-американской и русско-еврейской тусовки в ресторане под названием “Русский самовар”, созданном деньгами и усилиями трёх “шестидесятников” – Романа Каплана, Иосифа Бродского и Михаила Барышникова.

Ресторан изображён как некая Мекка для изголодавшихся по свободе единоверцев, которые приезжают в Америку посмотреть, как устроились на новом месте первопроходцы и стоит ли рискнуть и навсегда покинуть оставшуюся в другом полушарии Земли “Рашку”.

“Эмиграция, – пишет Найман, – была, казалось, сокрушительной. Самые энергичные, самые яркие, самые живые, самые талантливые уезжали”. Среди них был и Юзик Алешковский, вроде свой в доску парень, с которым я попрощался в Центральном доме литераторов после того, как мы выпили на прощанье и, как водится, заспорили. “Оставайся на своей территории!” – надменно произнёс он, оттопыривая нижнюю губу. Вскоре я ответил ему стихотвореньем, продолжившим наш спор:

*Для тебя — территория, а для меня —
это родина, сукин ты сын!
Да исторгнет тебя, как с похмелья, земля
с тяжким стоном берёз и осин.*

*Я с тобою делил и победу, и хлеб,
и плохую, и добрую весть,
но последнее слово из книги судеб
ты не дал мне до срока прочесть.*

*Что ж, я сам прозреваю, не требуя долг,
оставайся с отравой в крови;*

*в языке и в народе известно, что волк
смотрит в лес, как его ни корми.*

*Впрочем, волк — это серый и сказочный зверь,
защищающий волю свою.*

*Всё давно мне понятно, но даже теперь
много чести тебе воздаю.*

Гнев за гнев, коль не можешь любовь за любовь.

*Так скитайся, как вечная тень,
ненадолго насытивший ветхую кровь
исчезающий оборотень...*

Написал и подумал: “А не слишком ли я жесток?” “Оборотень” вскоре исчез из Москвы, чтобы очутиться в “Русском самоваре”, завсегдатаи которого утешали себя, равняясь на классиков прошедших времён: “В масть пришло и было подхвачено словцо первой послереволюционной эмиграции: мы не в изгнании, мы в послании”... Ишь, чего захотели — славы первой эмиграции, из-под пера которой рождались великие книги: “Жизнь Арсеньева” Ивана Бунина, “Солнце мёртвых” Ивана Шмелёва, “Вёрсты” Марины Цветаевой, “Европейская ночь” Владислава Ходасевича, “Жизнь Клима Самгина” Максима Горького, “Что нам в них не нравится” Василия Шульгина... А что вышло из-под пера “небожителей” “Русского самовара”? Разве что порнографические повестушки Юзика Алешковского — “Моцарта русской прозы”, как ехидно его называл то ли Найман, то ли Бродский. Правда, в текстах Наймана из “Русского самовара” есть несколько признаний, заслуживающих внимания: “Русские русских не любят за границей не только потому, что по русской своей природе каждый каждому антагонист, и если на родине всё-таки приходится быть заодно, поскольку, во-первых, общежитие и, во-вторых, удобнее выживать, то тут — отвали, хочу пожить без тебя, козла. А ещё и потому, что не порти ты мне чужбину, куда я приехал отвязаться от того, к чему меня жизнь привязала, и, прежде всего, оторваться от родины <...> мы хотим не знать”. “Быть везде и нигде, жить на земле, которая ничья и каждого...”

Правильный диагноз поставил Найман своим соотечественникам. Разве что одну поправочку нужно сделать в этом признании: вместо фразы “**Русские русских не любят за границей**” ему следовало бы написать: “**Русские евреи русских евреев не любят...**” Вроде бы абсурдно звучит, но точнее не скажешь. Как тут лишний раз не вспомнить пророческие слова Александра Герцена: “Все эмиграции, отрезанные от живой среды, к которой принадлежали, закрывают глаза, чтобы не видеть горьких истин, и вживаются больше в фантастический замкнутый круг, состоящий из косных воспоминаний и несбыточных надежд. Если прибавим к этому отчуждение от неэмигрантов, что-то озлобленное, подозреваемое, исключительно ревнивое, то новый упрямый Израиль будет совершенно понятен”.

Но “к предательству таинственная страсть” обжигала души не только посетителей “Русского самовара”, приехавших на берег Гудзона. Они были отравлены ревностью друг к другу, ещё живя на просторах ненавистной им “Рашки”. Читаешь воспоминания “дочерей оттепели” и “сыновей Арбата” и поражаешься тому, что они, демонстрируя своё единство на публике, или на встречах с партийным начальством, или в подлом письме “42-х”, — когда оставались один на один с листом бумаги, то погружались в стихию “предательства” и взаимоиспепеляющей ревности.

Из “Дневника” Ю. Нагибина: “А Б. Ахмадулина недобра, коварна, мстительна и совсем не сентиментальна, хотя великолепно умеет играть беззащитную растроганность. Актриса она блестящая, куда выше Женьки, хотя и он лицедей не из последних. Белла холодна, как лёд, она никого не любит, кроме — не себя даже, а производимого ею впечатления. Они оба с Женей — на вынос, никакой серьёзной и сосредоточенной внутренней жизни. Я долго думал, что в Жене есть какая-то доброта при всей его самовлюблённости, позёрстве, ломании, тщеславии. Какой там! Он весь пропитан злобой. С какой низкой яростью говорит он о ничтожном, но добродушном Роберте Рождественском! Он и Вознесенского ненавидит (...), и мне ничего не простил. 3 сентября 1972 г<ода>.”

Из книги В. Аксёнова “Таинственная страсть”: “Давно уж с такой мерзостью, как никарагуанские мемуары Евгения Евтушенко, не сталкивался. Он всё ещё за свободу, оказывается, борется, гипертрофированный пошляк”.

Слова И. Бродского из главы В. Соловьёва “Иосиф в Египте”: “Вознесенский – это явление гораздо более скверное, гораздо более пошлое. В прошлом, я думаю, иерархии не существует, тем не менее Евтушенко – лжец по содержанию, в то время как Вознесенский – лжец по эстетике. И это гораздо хуже”.

А об Александре Кушнере Иосиф Бродский вообще отозвался с беспощадной жестокостью, возможно, потому, что последний никуда не эмигрировал, остался в Петербурге и, в сущности, выполнил завет Бродского: “Ни страны, ни погоста // не хочу выбирать. // На Васильевский остров // я придду умирать...”. Этого поворота судьбы Иосиф ему не простил: “... Кушнер, которого я до сих пор ставлю ниже остальных, хоть он и был очень популярен, и еврей... Посредственный человек, посредственный стихотворец... Крошка Цахес”.

Из “дневника Ю. Нагибина”: “Была Марина Влади, рассуждала о женском онанизме. Пришёл Высоцкий, дал ей по морде, и они ушли”.

Из книги В. Соловьёва “Не только о Евтушенко”: “Ночевал в Педелекино на даче у Евтушенко. Евгений Александрович строго-настроено приказал мне не открывать Ахмадулиной, если она будет стучаться в дверь... – Смотри, – сказал он. – она за бутылку с тобой в постель ляжет. Так что не открывай”.

А Иосиф Александрович с высоты своего нобелевского положения язвительно дразнил и евреев, и русских, и патриотов, и космополитов, и коммунистов, и сионистов, и если верить Владимиру Соловьёву, написавшему “Запретную книгу о Бродском”, с провокационной смелостью высказывался “по еврейскому вопросу: “XX век сплошь жидовизирован”, “русская литература изрядно проперчена еврейским присутствием. Как минимум, пятьдесят процентов из тех, кто в этом веке считал себя поэтом, были евреями”, “кем угодно могу себя представить в другой жизни: мухой, червём, мартышкой, камнем. Даже женщиной. А вот гоем – никак”.

“Кончается жидовский век. Век трагедии и триумфа. Трагедия и есть Триумф. Что имена перечислять – жизни не хватит! Главное имя – Гитлер. Куда мы без него? Он сделал наши претензии обоснованными, сметя с пути препоны. Мой тёзка ему тоже пособил – не без того. После Холокоста любое проявление антисемитизма стало преступлением против человечества, что и развязало нам руки”. “Протоколы сионских мудрецов” на самом деле подлинник, евреи тайно гордятся ими и пользуются, как шаргалкой...”

(Из книги В. Соловьёва *Post Mortem*. Запретная книга о Бродском. М.: РИПОЛ-классик, 2006).

После всего сказанного недоумеваю: зачем “юдофил” Евтушенко набивался в друзья к Иосифу? Слава Богу, что Иосиф отвернулся от него и не захотел мириться с воплями Евгения Александровича о том, что он в одиночку противостоит “мировому заговору” “черносотенцев” всех стран. А что касается любви к родному пепелищу, то Бродский противостоял этому пушкинскому завету весьма изощрённо: “Мне нечего сказать / ни греку, ни варягу, // зане не знаю я, / в какую землю лягу. // Скрипи, скрипи, перо, переводи бумагу...” Это было перекличкой сразу с двумя знаменитыми пушкинскими изречениями. “Грек и варяг” Бродскому были нужны для того, чтобы читатель его стихотворенья вспомнил пушкинское хрестоматийное:

*Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык...*

Этой оглядки на Пушкина Иосифу показалось мало, и он добавил как бы от себя: “Скрипи, скрипи, перо, переводи бумагу”. Но и в этом случае Иосиф Александрович использовал последнюю строку из пушкинской “Осени” (“Октябрь уж наступил...”): “И пальцы просятся к перу, перо к бумаге...” Одним словом, пытаясь “поиграть в прятки” с Пушкиным, Бродский использовал два пушкинских образа, но таким образом, чтобы не согласиться с любовью к родному пепелищу, о чём и сказал сам: “Зане не знаю я, / в какую землю лягу”.

А коли этого не знаешь, то и спроса никакого с тебя нету, поскольку в перечне племён у Пушкина есть “внук славян”, “финн”, “тунгус”, “калмык”, а “еврей” отсутствует. Но кто же в этом виноват? Конечно, Александр Сергеевич, которого Иосиф Александрович побаивался, в то время как к своим соплеменникам он относился, мягко говоря, амикошонски и даже хулигански.

А вот как отозвался о своих соратниках по “шестидесятничеству” Юлий Даниэль, припечатав всё либеральное болото одним махом:

Либералам

*Отменно мыты, гладко бриты,
И не заношено бельё...
О, либералы-сибариты,
Оплот мой, логово моё!*

*О, как мы были прямодушны,
Когда кипели, как “Боржом”,
Когда, уткнувши рты в подушки,
Крамолой восхищали жён.*

*И, в меру биты, вдоволь сыты,
Мы так рвались в бескровный бой!
О, либералы — фавориты
Эпохи каждой и любой.*

*Вся жизнь — подножье громким фразам,
За них — на ринг, за них — на риск...
Но нам твердил советчик-разум,
Что есть Игарка и Норильск.*

*И мы, шипя, ползли под лавки,
Плюясь, гнусавили псалмы,
Дерьмо на розовой подкладке —
Герои, либералы, мы!*

*И вновь тоскуем по России
Пастеризованной тоской,
О, либералы — паразиты
На гноище беды людской.*

(“Говорит Москва”, М.: Московский рабочий. 1991. С. 228)

А ещё один поэт из лагеря “шестидесятников”-западников Владимир Корнилов, прислонившийся к “питомцам Политехнического” скорее от одиночества, нежели по идейным соображениям, так отозвался о странном сближении с ними:

*Ну, а если всё же греюсь
возле вашего огня,
значит, совесть или смелость
не в порядке у меня...*

* * *

В нашей среде всё было по-другому. Никогда никто из нас не сказал ни одного унижительного или оскорбительного слова друг о друге. Никто из нас не искал в произведениях своих друзей ни пошлости, ни развязности, ни лицедейства... Да скорее всего потому, что этих “достоинств” в них и не было. Как мне помнится, мы всегда радовались, прочитав новую подборку стихотворений Рубцова или “Последний срок” Распутина, или честный, трогательный и вызывающий чувство здорового смеха рассказ Шукшина. Мы отдавали

должное горестным повестям Белова о крестьянской жизни 20–30-х годов, восхищались стихами и поэмами Юрия Кузнецова, честной прозой Леонида Бородина, его “Третьей правдой” и “Годом чуда и печали”... А если и случались у кого-то из нашего круга какие-то неудачи, то мы или не обращали на них никакого внимания, или добродушно подшучивали друг над другом.

Если “дети XX съезда”, собираясь вместе, пели гимн сопротивления то ли властям, то ли эпохе тоталитаризма: “Возьмёмся за руки, друзья, // чтоб не пропасть поодиночке”, — то мы лечили душу стихами и музыкой “Осенней песни” Рубцова:

*Ну, так что же? Пускай
Рассыпаются листья!
Пусть на город нагрятся
Затаившийся снег!
На тревожной земле,
В этом городе мгlistом
Я по-прежнему добрый,
Неплохой человек...*

Если мы кого-то и осуждали сквозь зубы, с досадой и горечью, так это Виктора Астафьева, да и не за повести и рассказы, которые мы считали выдающимися, а за то, что он поставил или разрешил поставить свою фамилию под позорным “письмом 42-х”.

Выбиваться в люди нам, детям русского простонародья, было куда труднее, нежели “детям Арбата”. Николай Рубцов после смерти матери-крестьянки воспитывался в деревенском детдоме, потом служил на флоте. После демобилизации работал матросом на рыболовном сейнере, потом учился в горном техникуме и лишь после такой изнурительной молодости поступил в Литературный институт.

Анатолий Передреев, выходец из крестьянской семьи, бежавшей в начале тридцатых годов из голодающего саратовского села в Грозный, тоже нахлебался вдоволь трудовой житухи, прежде чем обрёл литературную судьбу: работа на Саратовском металлургическом заводе в плавильном цеху, работа шофёром на грузовиках, служба в армии в ГДР, работа на строительстве плотины Братской ГЭС — вот этапы его “долитературного” пути... Его отец по возрасту не был мобилизован в Великую Отечественную войну, но три старших брата Анатолия Передреева с этой войны не вернулись. **“Три старших брата было у меня, // от них остались только имена”**, — а четвёртый брат вернулся с войны без обеих ног. Какими трудами зарабатывал Анатолий Передреев себе на хлеб, он рассказал в цикле стихотворений “Работа”:

*Я жил свободно и открыто,
Я делал чистые дела.
И производственная крыша
Над головой моей плыла.
Она была, как купол цирка,
Но не хватало высоты
Парам расплавленного цинка,
Удушью серной кислоты.
Но этот дым и слово “вредник”
Я принимал без лишних слов
И нёс брезентовый передник
Все шесть положенных часов.
И к вентиляторному ветру
Я прислонялся головой...
А на стенáх — плакаты века,
Призывы, лозунги его.
Они в упор кричали: — Выше
производительность труда!.. —
И жили голуби под крышей,
От снега спрятавшись туда.*

*Садилась голуби на фермы,
Роняли перья и помёт;
И падали, теряя формы,
Помёт коверкая, — в пролёт...
Как ветошь, тлело оперенье,
Но между цинковых чанов
Я нёс брезентовый передник
Все шесть положенных часов.*

У Юрия Кузнецова отец погиб смертью храбрых при взятии в Крыму Сапун-горы, где его фамилия увековечена на гранитной стеле. А сам Юрий Поликарпович отслужил в армии, отдал свой воинский долг по полной и даже был заброшен на Кубу во время Карибского кризиса...

Анатолий Штыров, ровесник Шукшина, был во время войны беспризорником, но его, как и многих других оставшихся без отцов подростков, подобрали на одном из вокзалов страны и определили в Нахимовское училище. Таким было решение Сталина в годы, когда у этой беспризорной вольницы было лишь два пути — или военное училище, или уголовщина со всеми её гибельными соблазнами “лёгкой” жизни... С помощью колхозных трудодней вошли в русскую литературу Вячеслав Шугаев и Василий Белов, Виктор Коротаев и Ольга Фокина, Алексей Прасолов и Валентина Сидоренко. А если вспомнить выдающегося прозаика, поэта и русского диссидента Леонида Бородина, тоже выросшего без отца и отсидевшего семь лет в мордовских лагерях за создание всероссийского христианского союза, если вспомнить “очарованного странника” — русского поэта Глеба Горбовского или прозаика Олега Куваева, автора изумительной повести “Территория”, то можно только удивляться, что они, как и многие другие дети простонародья, дети русского народа — Владимир Крупин, Юрий Убогий, Татьяна Глушкова, Альберт Лиханов, — вышли из сословия сельских учителей, провинциальных врачей, военнослужащих, из первого поколения служивой интеллигенции, осуществлявшей индустриализацию и культурную революцию 30-х годов. Вадим Валерианович Кожин, как никто, понимал, что традиции русской литературы продолжают не выходцы из партийно-государственной элиты, не “дети Арбата” и XX съезда КПСС, а потому издал в 1976 году в издательстве “Детская литература” коллективный сборник “Страницы современной лирики”, куда включил двенадцать имён: Владимира Соколова, Глеба Горбовского, Николая Рубцова, Анатолия Передреева, Станислава Куняева, Анатолия Жигулина, Юрия Кузнецова, Василия Казанцева, Алексея Решетова, Эдуарда Балашова, Виктора Лапшина. Ни Евтушенко, ни Вознесенскому, ни Рождественскому, ни Ахмадулиной, ни Сошноре он не нашёл места в этой книге. Достигала ли в наших отношениях вражда между патриотами и либералами крайних пределов? В какой-то степени, да. Но мы всегда стремились вести борьбу в русле честного спора, в противостоянии аргументов и фактов, в своеобразном присутствии читателей. Если уж побеждать, то в публичном споре, где роль присяжных заседателей играет читающая публика. Наилучшим примером подобного честного противостояния была дискуссия “Классика и мы”, организованная нами в декабре 1977 года, в ответ на которую “штатники” вскоре огрызнулись изданием жалкого в художественном смысле “Метрополя”. Помню, что после пятчасового сражения на дискуссии “Классика и мы” наши друзья, московские художники, подарили мне Георгиевский крест и берёзовый туесок с запиской, где были слова: “За победу в неравном бою”. А мой сын, находившийся в зале, поздней ночью после дискуссии рассказал мне, что Дина Гейман, учившаяся с ним на филологическом факультете МГУ, заплакала от какого-то отчаянья, когда я под бурные аплодисменты и злобные вопли закончил своё выступление...

Чем ближе сдвигалось время к 1990-м годам, тем чаще мы схватывались друг с другом в “рукопашных” сраженьях, в словесных поединках, становившихся в годы перестройки обычным и даже рутинным делом. Последняя крупноформатная схватка произошла между нами, когда в августе 1991-го мы опубликовали в “Советской России” “Слово к народу”, а “дети Арбата” ответили нам через два года “Письмом 42-ух”...

Хочу ко всему сказанному добавить только одно: в отдельных случаях личная неприязнь самых отвязанных “шестидесятников”-либералов к нам

неожиданно для нас превращалась в беспредельную ненависть, какой мы не ощущали в 60–80-е советские годы. Ярчайшим примером этого феномена является заочная вражда между двумя знаковыми фигурами двух культур – Фридрихом Горенштейном и Василием Шукшиным. Вот что пишет в книге “Шукшин в кадре и за кадром” близкий друг Шукшина, кинооператор шукшинских фильмов Анатолий Заболоцкий:

“Был вечер памяти Шукшина (в первый год после смерти) в кинотеатре “Уран” на Сретенке. Во вступительном слове Лев Аннинский высказал мысль, что Шукшин, сам будучи полуинтеллигентом, обрушился против интеллигенции. В ответ из зала раздался громкий одинокий протест: “Сам ты полуинтеллигент!” Аннинский, прервавшись, попросил объявиться кричавшего, тот простодушно встал. Часть зала и оратор потребовали выдворить нарушителя из зала. Тут же нашлись и исполнители. Вслед изгоняемому кричали: “Пьянь! Черносотенец!” Я после Аннинского вылез к микрофону и, как умел, вступил-ся за крикуна-”черносотенца”.

И переходя в этой книге к другому сюжету, Анатолий Заболоцкий познакомил читателей с поразительной историей о том, до какого градуса ненависти доходили весьма известные вожди либерального лагеря, когда речь заходила о жизни и смерти Шукшина. Из комментариев А. Заболоцкого:

“В своих воспоминаниях Бурков пишет ещё и о том, что Шукшин якобы очень болезненно переживал ярлык “деревенщик”, страшно возмущался, когда его так называли... Если и обижался, то в первые послеинститутские годы, которые впоследствии заново оценивал, вспоминая прожитую жизнь. Но в дни, когда он был на съёмках в Клетской, “деревенщик” ему уже льстило, он был зрелый, а обижали его другие ярлыки: когда он заговаривал о Есенине, Победоносцеве, Столыпине, Лескове, об угнетении русских, то его клеймили националистом, славянофилом, антисемитом. “Только космополитом ни разу не окрестили”, – успокаивал себя Шукшин. Сколько о том получал записок из зала, живых вопросов на встречах! Кто только не поносил его в любом застолье в Москве! А венцом подобных нападок была появившаяся вскоре после смерти Шукшина за подписью Фридриха Горенштейна (одного из соавторов Андрея Тарковского, который некогда был сокурсником Василия Макаровича) публикация “Алтайский воспитанник московской интеллигенции. (Вместо некролога)”. Настроения, выраженные в этом пасквиле, сопровождали последние годы Шукшина, а перед смертью, можно смело утверждать, захлёстывали”. Вот несколько показательных отрывков из упомянутого “Вместо некролога”, сочинённого Ф. Горенштейном:

“Что же представлял из себя этот рано усопший идол? В нём худшие черты алтайского провинциала, привезённые с собой и сохранённые, сочетались с худшими чертами московского интеллигента, которым он был обучен своими приёмными отцами. Кстати, среди приёмных отцов были и порядочные, но слепые люди, не понимающие, что учить добру злодея – только портить его. В нём было природное бескультурье и ненависть к культуре вообще, мужичья, сибирская хитрость Распутина, патологическая ненависть провинциала ко всему, на себя не похожему, что закономерно вело его к предельному, даже перед лицом массовости явления, необычному юдофобству. <...> На похоронах этого человека с шипящей фамилией, которую весьма удобно произносить сквозь зубы, играя по-кабацки желваками, московский интеллигент, который Анну Ахматову, не говоря уже о Цветаевой и Мандельштаме, оплакал чересчур академично, на этих похоронах интеллигент уронил ещё одну каплю на свою изрядно засаленную визитку. Своим почётом к мизантропу интеллигент одобрил тех, кто жаждал давно националистического шаша, но сомневался – не потеряет ли он после этого право именоваться культурной личностью.

Те, кто вырывали с корнем и принесли на похороны берёзку, знали, что делали, но ведают ли, что творят, те, кто подпирает эту берёзку своим узким плечом.

Не символ ли злобных тёмных бунтов – берёзовую дубину, которой в пьяных мечтах крушил спинные хребты и головы приёмным отцам алтаец, – не этот ли символ несли они? Впрочем, террор низов сейчас принимает иной характер, более упорядоченный, официальный, и поскольку берёза – дерево распространённое и символичное, его вполне можно использовать как подпорки для колючей проволоки под током высокого напряжения.

И, когда топча рядом расположенные могилы, в которых лежали ничем не примечательные академики, генералы и даже отцы московской интеллигенции, приютившие некогда непутёвого алтайца, когда, топча эти могилы, толпа спустила своего пророка в недра привилегированного кладбища, тот, у кого хватило ума стоять в момент этого шабаша в стороне, мог сказать, глядя на всё это: “Так нищие духом проводили в последний путь своего беспутного пророка”.

И это сказано о человеке, юность, отрочество, да и несколько зрелых лет которого (с 1943-го по 1954 год) прошли в трудах на пастбищах и полях алтайского колхоза, о человеке, работавшем слесарем на Калужском турбинном заводе, о человеке, освоившем профессию школьного учителя и директора сельской школы в родных Сростках, о человеке, отслужившем в годы “холодной войны” воинскую службу на Балтийском и Черноморском флотах, о человеке, поехавшем в Москву во ВГИК на деньги, которые матушка Шукшина Мария Сергеевна получила за проданную корову... Отца у Василия не было, он был расстрелян в 1933 году, в эпоху коллективизации.

К 90-летию Шукшина в журнале “Наш современник” была опубликована переписка Шукшина с друзьями и родными. Письма крестьянских, колхозных детей. Вот несколько примеров, свидетельствующих о том, как они жили и о чём они мечтали.

Из письма сестре Наталье: “Однажды я поклялся никому и никогда не рассказывать о себе. Смотри, я даже матери ничего не говорю. А знаешь, как это трудно?”

Из письма Василию Белову: “Был тут у меня один разговор с этими... Про нас говорят: что у нас это эпизод. Что мы взлетели на волне, а дальше у нас не хватит культуры, что мы так и останемся свидетелями в рамках прожитой нами жизни, не больше. Особенно доставалось мне <...> неужели так, Вася? Неужели они правы?”

Из письма Шукшина Белову: “Нет, какой-то новый этап наступает несомненно. “Ничего-о, думаю, – это ещё не конец. Буду писать и складывать... Не падай духом, Вася... Много не сделаем, но своё – сделаем, тут природа (или кто-то) должны помочь... Спасенье наше только в работе”.

Из письма Белова Шукшину о “Калине красной”: “Фильм грандиозный. Обнимаю, радуюсь. Поплакал я втихаря. Такой горечи и такой боли ещё не было в нашем кино. Молю Бога, чтобы фильм поскорее пришёл к людям”.

Из письма Белова Шукшину: “А тебе дай Бог сил. Сделай ты “Степана” (фильм о Степане Разине. – **Ст. К.**) – По-нашему. Не марксиста, а Степана. А я уже вижу, как ты идёшь под секиру”.

В. Распутин о Василии Шукшине: “Нам сейчас очень не хватает Шукшина – как честного, никогда, ни при какой погоде не ломавшего голос художника, скроенного, составленного от начала до конца из одних болей, порывов, любви и таланта русского человека, как сына России!”.

А что касается кощунственного “некролога”, написанного недрогнувшей рукой Фридриха Горенштейна, то Анатолий Заболоцкий, приведя “некролог” полностью в мемуарах о Шукшине, с недоумением спросил сам себя: “Чем на него (“некролог”. – **Ст. К.**) мог бы ответить нормальный человек?” И вспомнил ответ Шукшина всем его недоброжелателям:

“Пожалуй, лучше всего это сделал сам Шукшин за 39 дней до смерти, 21 августа 1974 года. В авторской аннотации к сборнику своих рассказов и повестей (который выпустили в 1975 году издательство “Молодая гвардия”) он написал:

“Если бы можно и нужно было поделить всё собранное здесь тематически, то сборник более или менее чётко разделится бы на две части.

1. Деревенские люди у себя дома, в деревне.

2. Деревенские люди, уехавшие из деревни (то ли на жительство в город, то ли в отпуск к родным, то ли в гости – в город же).

При таком построении сборника, мне кажется, он даст больше возможности для исследования всего огромного процесса миграции сельского населения, для всестороннего изучения современного крестьянства.

Я никак “не разлюбил” сельского человека, будь он у себя дома или уехал в город, но всей силой души охота предостеречь его и напутствовать, если он поехал или собрался ехать: не теряй свои нравственные ценности, где бы ты ни оказался, не принимай суетливость и ловкость некоторых городских

жителей за культурность, за более умный способ жизни – он, может быть, и даёт выгоды, но он бессовестный. Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвёл в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совестливость, доброту... Мы из всех исторических катастроф вынесли и сохранили в чистоте великий русский язык, он передан нам нашими дедами и отцами – стоит ли отдавать его за некий трескучий, так называемый “городской язык”, коим владеют всё те же ловкие люди, что и жить как будто умеют, и насквозь фальшивы. Уверуй, что всё было не зря: наши песни, наши сказки, наши неимоверной тяжести победы, наши страдания – не отдавай всего этого за понюх табаку... Мы умели жить. Помни это. Будь человеком”.

Да, основания не любить Россию и её народ у Фридриха Горенштейна были. Он тоже прожил нелёгкую жизнь. Его отец Наум Исаевич Горенштейн, профессор политэкономии и, конечно же, член ВКП(б), был расстрелян в 1937 году, как и алтайский крестьянин, отец Шукшина. Фридрих Горенштейн, видимо, для того, чтобы не носить фамилию врага народа и, скорее всего, по инициативе матери Эмки Абрамовны Прилуцкой, работавшей директором Дома для малолетних нарушителей, был переименован в Феликса Прилуцкого. Шукшину при таких же обстоятельствах фамилию не меняли.

В тридцатилетнем возрасте, в 1960 году, когда Шукшин закончил режиссёрское отделение ВГИКА, Горенштейн поступил в тот же ВГИК на высшие сценарные курсы, после чего написал 17 сценариев, из которых 5 были экранизированы.

Андрей Тарковский, Лазарь Лазарев, Бенедикт Сарнов, Анна Берзинь, Виктор Славкин, Марк Розовский, как утверждает Википедия, “считали его гением”... В 1979 году он был удостоен чести стать автором “Метрополя” и с этим нимбом уехал в 1980-м на Запад, где его, как триумфатора, стали активно издавать в Германии и Австрии, а также в Нью-Йорке. В парижских театрах ставились его многочисленные пьесы, шли спектакли по его романам (названия романов “Википедия” не сообщает). Гений он или нет, теперь не имеет значения. Если гений, то очень жаль, что похоронен в Германии на каком-то старом еврейском кладбище. Гениям подобное захоронение не по чину. К гению не должна зарастать народная тропа. Вот к Шукшину она уже зарастёт никогда. А о местах последнего упокоения и о посмертных судьбах, подобных судьбе Горенштейна, один из самых неглупых “западников” Василий Аксёнов писал: “Не хочу умереть где-то за границей, потому что видел и ухаживал за могилами наших соотечественников и в Америке, и во Франции. Это самое грустное зрелище на свете – русское кладбище на чужбине”. Как бы то ни было, но жизнь развела Шукшина и Горенштейна, развела по-разному. Василий Макарович пророчески предсказал место своего упокоения – кладбище Новодевичьего монастыря в Москве; Фридрих Горенштейн в своём “Некрологе” сорвался и позавидовал “алтайцу” чёрной завистью. Впрочем, где лежит “шестидесятник” Горенштейн, для русской литературы серьёзного значения не имеет. У нас, русских, ещё живы в душе пушкинские заветы о “любви к родному пепелищу” и о “любви к отеческим гробам”. Именно на этом древнейшем чувстве великого евразийского народа покоится его история. Осознавая это, знаменитый скульптор Вячеслав Клыков создал богатырское изваяние Василия Шукшина и перевёз его за несколько тысяч километров от Новодевичьего к алтайской горе Пикет, где рядом с родными Сростками шумит родная Шукшину Катунь. Именно на родную землю Шукшина съезжаются со всех концов России к его богатырскому изваянию русские люди... Именно в Сростках они заходят в шукшинский музей, поднимаются на Пикет, заросший ромашкой, зверобоем и васильками...

Вполне естественно, что и у “детей Арбата”, и у “детей русского народа” были свои истоки, критики и литературоведы, осмыслившие борьбу двух стихий. У “шестидесятников”-западников такими профессионалами стали Бенедикт Сарнов, Станислав Рассадин, Сергей Чупринин. У нас – Пётр Палиевский, Вадим Кожинов, Юрий Селезнёв. Но литературная борьба захватывала и многих других выдающихся персонажей эпохи. На мой взгляд, с удивительной глубиной и точностью оценок осмысливал культурную жизнь того времени композитор Георгий Васильевич Свиридов в своих дневниковых заметках, составивших впоследствии его книгу “Музыка как судьба”: “60–70-е годы были очень интересными. Ничтожность деклараций и общественно-политических

идей, высказанных скороспелым поколением “шестидесятников”, была осознана, и мысль общества ушла в глубину, в поиски новых путей к истокам национальной культуры, национального сознания, национального характера”. “Николай Рубцов – тихий голос Великого народа, потаённый, глубокий, секретный” (“Музыка как судьба”. М.: Молодая гвардия, 2002. С. 126). О Евтушенко он высказывался беспощадно: “Литературный сексот, провокатор, которому в силу особенностей его службы разрешено говорить иногда некоторые вольности” (там же. С. 350). “Шостакович был музыкальным аналогом так называемой эстрадной поэзии (Евтушенко и Вознесенский), получавшей огромный резонанс в обществе. И совершенно не случайно, конечно, их плодотворное сотрудничество: 13-я симфония, “Казнь Степана Разина”, лирические канцоны (Микеланджело Буонаротти в переводе Вознесенского)...” “Государство опекает, лелеет аморфных людей, купленных или проданных, вроде Коротича, Евтушенко и подобных. Издаёт законы, охраняющие их достоинство”. “Ненависть в литературной среде к Астафьеву, Абрамову, Белову, Распутину – это ненависть к народному сознанию, народному строю чувств и мыслей” (там же. С. 538).

А разве не та же “таинственная страсть” руководила Марком Захаровым, когда он в 1989 году, выступая по телевидению, на глазах у всей страны сжёг в пепельнице, стоявшей на столе, свой партбилет, с помощью которого он стал в 1973 году худруком и главным режиссёром “Ленкома”, народным артистом СССР (1991) и лауреатом Государственной премии СССР (1987). А благодаря тому, что самим фактом уничтожения партбилета Захаров продемонстрировал Ельцину и его присным, что он “их человек”, ко всем советским званиям и наградам на него посыпались награды за предательство: три государственных премии России (1992, 1997, 2002) и три ордена “За заслуги перед Отечеством”, что сделало его почти “полным кавалером” этого ордена.

В связи с театральным и демонстративным уничтожением Захаровым партбилета мне вспоминается одна история.

В 70-х годах прошлого века я и весьма известный кабардинский поэт Алим Кешоков были в писательской командировке на Ближнем Востоке, где однажды вечером в гостинице у нас с ним зашёл разговор о сталинском переселении малых народов, в том числе и калмыков, за сотрудничество с немцами на восток страны. А Кешоков в то горячее время (лето 1942-го) служил в кавалерийском полку, который преследовал и дезертиров из калмыцких воинских соединений, разбежавшихся по степи и ждавших прихода гитлеровцев. “Сейчас мы все друзья, – сказал мне Кешоков. – Расул Гамзатов, Кайсын Кулиев, Давид Кугультинов и я... А летом сорок второго Давид служил в 110-й калмыцкой дивизии, которая разбежалась при приближении немцев к Сальску. Хорошо, что не встретился мне в те дни Давид, – сказал Кешоков. – Я бы мог его просто из автомата перечеркнуть... А Семён Липкин, – продолжал Кешоков, – стал перед войной народным поэтом Калмыкии за перевод на русский язык народного эпоса “Джангар”, и наступавшие немцы разбрасывали с самолёта листовки с призывами: “Калмыки! Сдавайтесь! Ваш народный поэт Липкин уже у нас в плену”. Они думали, что Липкин – это калмыцкий поэт...”

Я вспомнил разговор с Кешоковым, когда прочитал стихотворение Липкина с яркой строчкой о предателях тех дней, когда “фарисеи и книжники // билеты партийные жгли”. Именно эту строку Липкина я взял эпиграфом к своей эпитафии, где речь шла о предательстве Марка Захарова:

*Когда вальяжный Марк Захаров,
творец сценических пожаров,
прилюдно партбилет поджёг,
то огорчённый Сёма Липкин,
поскольку был седым и хлипким,
от горя впал в глубокий шок.*

*Сердечко старого еврея
от наглой шутки фарисея
забилось разом невпопад,
он застонал, ломая руки:*

— *За что ты мне добавил муки,
Маркуша, книжник, ренегат!*

*Какой разлад, какое горе!
Но мне плевать, кто прав в том споре —
поэт Семён? Партиец Марк?
Меня в том споре не убудет,
пускай двух книжников рассудит
их мудрый соплеменник Маркс.*

Я не случайно написал, что распря между Марком и Семёном была распрей между двумя “книжниками”: Липкин, заклеивший в стихах 1942 года предателей Родины – СССР, сжигавших перед приходом фашистов в Калмыкию свои партбилеты, в 60–90-е годы прошлого века переродился в убеждённого “шестидесятника”, стал одним из авторов антисоветского “Метрополя” и в 1990-м, когда Марк Захаров сжигал свой партбилет, также уподобился “фарисеям”. Вот как разошлись перед распадом СССР судьбы сыновей четырёх малых народов – калмыцкого (“друг степей калмык” Кугультинов), кабардинского (советский кавалерист Кешоков), еврейского (фарисей Липкин) и крымско-татарского (Захаров, признавшийся в Википедии в родстве с этим племенем). Одним словом, получился из этого квартета своеобразный интернационал. А кому руководить “интернационалом”? Конечно, Карлу Марксу.

(Продолжение следует)